

И. А. КРЫЛОВ



**Похвальная речь Ермалафиду,
говоренная в собрании молодых писателей**

Ужасно видеть, милостивые государи, с какою завистию критика всегда вооружалась на дарования. Тысячу бы примеров нашел я в истории о словесности; но как мы обязались благородною клят-

вою писать все и не читать ничего, то, не хвастаясь, скажу, что ни одного довода сделать я не в состоянии. Но к чему нам доводы? Мы сами не ясное ли доказательство неблагодарности читателей? Соединенные благородною ревностью просвещать свет, не даем мы отдыха типографщикам, а ослепленная публика на стихи наши жалуется, как египтяне на саранчу, коею небо хотело обратить их на путь истины. Книжные лавки ломаются от нашей прозы и стихов; но когда войдешь и посмотришь на полки, где лежат наши сочинения, то подумаешь, что это зараженные товары, до которых никто не смеет дотронуться, и они остаются в сей неволе, доколе табачники и разносчики не расхватают их по клочкам, а нечувствительная публика смотрит на то равнодушно, оставляя им терзать наши неподражаемые произведения.

Плачевное предчувствие! Скоро, я думаю, надобно будет прежде читать, нежели писать; надобно будет думать – слезы навертываются у вас на глазах, милостивые государи! Привыкшим писать, не думавши, такое порабощение словесности, конечно, для нас будет ужасно. И в чем же неумолимые сии критики полагают свободу словесных наук, если думают они, что писатель должен последовать правилам или читать авторов, дабы подражать их красотам? Нет, любезные слушатели: великий ум никогда ничему не следует. Не нужны ему ни правила древних, ни их творения; и он, не справляясь ни с какими книгами, садится за письменный столик, как скоро почувствует только позыв на письмо. Фразу свою кончит тогда, когда надобно перо обмакнуть в чернильницу; период тогда, когда нужно его перечинить; как же скоро пленяется он новым содержанием, тогда, на первом своем сочинении подписав торжественно: конец! – принимается тотчас за другое, которое обрабатывает с такою же благородною вольностью. Таков-то есть почтенный Ермалафид, герой и сотрудник наш, коему дерзаю я соплести венец, достойный похвалы, в досаду злой критике, взирающей с завистию даже и на то, что в сочинениях его завертываются груши.

Может быть, удивятся, что, не дождавшись смерти моего героя, говорю я ему похвальную речь, но должно ли дожидаться смерти, чтобы увенчивать дарования? Если бы последовать сему правилу академий, то, судя по здоровью почтенного Ермалафиды, может быть, должен бы я был прожить еще двадцать лет, прежде нежели испытать мои слабые дарования на сем драгоценном осел-

ке. Нет, любезные слушатели, дарования нашего героя столь блистательны, воспаление мое прославить их столь велико, что я не в силах дожидаться так долго Ермалафидовой смерти и осмеливаюсь нарушить правила академий презирать писателей при жизни и величать их после смерти. Притом же можем ли мы надеяться на долговременность нашего собственного века, и не подвержены ли мы все такой же нечаянной смерти, как наши сочинения? Часто, смотря на увесистое новорожденное творение, по толстоте оного заключаем мы, что славе его не будет износу, а оно на другой же день погребается на полках вместе с старыми календарями. Не можем ли и мы все перемереть так же нечаянно и оставить вершину парнасскую нашим критикам, которые некогда, может быть – плачевное воображение! – будут показывать нас молодым своим писателям, как спартане показывали своим детям пьяных слуг, и тогдашняя публика, вместо того чтобы завидовать тем, кому удалось быть нашими современниками, станет благодарить небо, что она не в наш век вывелась. Предупредим же такое несчастье, любезные слушатели, и если уже нас никто не хвалит, то станем хвалить себя сами; ополчимся противу критиков и назло им, отдав справедливую похвалу неподражаемому Ермалафиду, докажем, что и в нашем обществе есть великие люди. Одного такого, каков герой мой, довольно, чтобы озарить славою все наше почтенное собрание. Откроем глаза предубежденной публике, которая упрямится читать неподражаемые его творения и старается погрузить нашего героя в море забвения, в сие ужасное море для нашего парнасского легиона; и в то же время посмотрим, как бесценный Ермалафид, поддерживаемый своими сочинениями, подобно как пузырями, не страшится погрязнуть; посмотрим, как неумолимая критика занимается тем, чтобы прокалывать сии пузыри, и наконец, с такою неутомимостию надувает он новые, не страшась, что с ними будет равная первая участь. – В сем месте оратор остановился, дабы дать роздых своему воображению и принять справедливые похвалы за прекрасное изобретение *моря забвения* и за счастливое сравнение Ермалафидовых сочинений с пузырями, – потом продолжал далее.

Я не буду распространяться о родословной нашего героя; да и он сам, как истинный автор, знает тверже, кто был отец Гомера или Ромула, нежели от кого он сам родился. Немного есть чего сказать и о его богатствах: не может похвалиться он большим имением, но

зато воображением столь богат, что часто не на что купить ему чернил, дабы сделать сему драгоценному богатству опись для сведения публики, и столь глубокомыслен, что если спустя десять дней вздумает прочесть свое сочинение, то уже не понимает, что он хотел сказать. «Для чего, – спросил у него некто, – пишешь ты без разбора и не обдумывая все, что придет тебе в голову?» – «Друг мой, – отвечал несравненный наш Ермалафид, – надобно более знать мою природу и потом уже судить о моих сочинениях. Если я одну только неделю не напишу, то чувствую сильный головной лом; самое ничто бухнет в моей голове, как горох, и я необходимо должен как можно скорей выгружать мысли мои на бумагу, – или мою голову так разопрет, что я потеряю равновесие».

Кто может из нас, милостивые государи, похвалиться таким изобилием мыслей? Кто, кроме нашего бесценного Ермалафида, так много раз и в столь разных порядках может раскладывать наши тридцать две литеры на бумаге? – Конечно, никто. – Он один только в состоянии с такою легкостию кстати о Гомере напомнить, что дрова дороги, и, хваля Юнговы «Нощи», заметить, что немцы обуваются щеголеватее французов. Он один только может с таким плодословием волочить надежду читателя через триста листов и на последней странице удивить его приятною нечаянностью, подписав: *конец!* – Сие non plus ultra¹ его обширного воображения. Но как, спросят меня, мог он достигнуть до такого богатства? Какими орудиями открыл такое сокровище? Предмет, поистине достойный вашего любопытства и который исследовать ставлю я моею обязанностью.

Если б обратились мы к древности, то бы нашли, может быть, что не герой наш первый изобретатель сего редкого искусства; но судьба, кажется, из зависти прячет от взора смертных лучшие их сокровища. И потому-то произведения пера, подобного Ермалафидову, столь же редки, как календари прошедших веков. И вот причина, заставляющая меня признавать его изобретателем сего способа. Ибо кому мог он подражать, не читая никого, как то скоро увидите вы из шествия его ума, коего пути осмелился я исследовать в сем слове и представить для подражания молодым нашим собратиям, которые, имея великие способности, ожидают только

¹ Высшая степень, высшая точка (лат.).

случая, кому последовать, и, за недостатком резких подлинников, принуждены с великим трудом отыскивать погрешности у Ломоносова и их выкрадывать или занимать их у Сумарокова. Но теперь я намерен для сего указать им неисчерпаемый источник в Ермалафиде и, дабы удовольствовать ваше любопытство, обращаюсь к моему предмету.

Едва минуло от роду пятнадцать лет нашему герою, как отдан он на руки учителям и посажен за российскую азбуку. Пламенный дух его недолго оставался при первых затруднениях, и менее нежели через два года зачал он писать *азы*. В сем-то случае творческий дух его оказал первые свои способности! Ермалафид никому не подражал в почерке; умнейшие из учителей не различали у него *аза* от *мыслетей*; казалось, что он, не читав никакого письма в свете, выдумал свою азбуку; учителя сперва приписали это тупому его понятию, и вот причина, что редкий ум нашего героя четыре года задержан за российскую азбукою. Наконец приметили они, что он поставил себе правилом никому не следовать и систематически водить караули. Тогда-то, сделав безошибочное заключение в его великих способностях к словесности, дали они ему в руки грамматику, и менее нежели в месяц не осталось в ней ни листа живого – он просил новой книги. «Разве ты всю грамматику выучил?» – спрашивали у него. «Нет, – отвечал неоцененный герой, – но поверьте, что я и без грамматики могу пощеголять моим слогом». У него потребовали опыта, и в один час – в один только час он написал столь красноречивое письмо, что премудрейшие из учителей его не поняли. Это убедило их, и они представили ему логику. «Что это за наука?» – спрашивал восторжествовавший над грамматикою герой. «Наука мыслить, – отвечали ему, – и важная тайна поместить кстати ergo»¹. – «Мне не нужна эта наука, – говорил Ермалафид, – двадцать лет думал я без логики, так неужли достальную половину своего века не возмогу без нее обойтись?» Возражение сильное, коему никто не осмелился противоречить, – настала очередь риторике явиться на суд героя – он развернул ее, прочел строк пятнадцать, зевнул, почувствовал сильную склонность ко сну и отложил до завтра решение о сей науке.

¹ Итак, следовательно (лат.).

На другой день повел он учителей в свою библиотеку и указал им на полку, заваленную романами, – там наслаждались ненарушимым покоем творения Бредина, покровенные пылью, равнолетною им самим; там почивали мертвым сном томные произведения Антирихардсона; в другом месте глотали пыль герои, произведенные подражателем Руссовым. «Есть ли тут риторика?» – спросил Ермалафид, указывая на все это собрание. – Учители читали все сии романы и согласились единодушно, что в них риторики нет. – Он сделал им тот же вопрос о гряде журналов; они их знали и принуждены были по совести сказать, что в них имени красноречия нет; после сего показал он им связку од – и они признались, что здесь большею частью пишутся оды без красноречия. «Когда такое множество людей пишут без риторики, – отвечал он гордо, – то неужели думаете вы, что я всех их глупее и не могу без нее обойтись? Поверьте, что мне не нужна эта наука; и я откровенно скажу вам, что я, и зная риторику, не написал бы ни на волос лучше того, как писал, и стану писать, не зная ее ни строчки».

После сего несравненный Ермалафид с такою же благородною гордостью отвергал все другие науки одну по одной. «Когда я буду читать, то когда ж писать останется мне время? Нет, я намерен учить, а не учиться. Для меня низко узнавать, что другие думали: я хочу лучше, чтоб целый свет, читая меня, старался отгадать, что я думаю. Довольно долго страдала республика ученых, стесненная правилами: я родился их разрушить и для того-то хочу развязать своим примером молодые умы; хочу писать без правил и доказать на самом деле, что словесность есть свободная наука, не имеющая никаких законов, кроме воли и воображения». С такими-то прекрасными правилами герой наш вступил в поприще писателей и, чтобы начать чем-нибудь знаменитым свои подвиги, написал он трагедию.

Доныне, милостивые государи, жалко было видеть, с каким бесчеловечием проливалась кровь в трагедиях; жестокие авторы, кажется, только с тем намерением заманивали в партер, чтобы у всякого из них испортить фунта по три крови – но какая приятная новость! Едва появилась трагедия нашего героя на сцену, то казалось, что в партере сидит целый народ строгих стойков: толико-то глубокое спокойствие царствовало во всем партере. Зрители не были возмущены ни страхом, ни жалостью, ни ненавистью; казалось,

что герои Ермалафида превыше всех страстей; ни одной не было в них приметно, и если бы глухому показать столь прекрасное зрелище, то бы, конечно, он подумал, что греческие мудрецы с театра преподают партеру курс математики. Не подумайте, однако ж, милостивые государи, чтобы трагедия нашего героя не привлекала внимания! – Напротив того, нередко партер надрывался от смеха, и Ермалафид, бесценный Ермалафид сам смеялся от радости, видя, что трагедия его производит такое прекрасное действие. «Начав трагедию, – говорил он, – я хотел утешить, а не встревожить и не опечалить партер», – прекрасное правило, коему последовали многие писатели, и с того-то времени, милостивые государи, у нас начали писать столь же шуточные трагедии, как итальянские оперы *буффо*. Сей успех еще ободрил более нашего героя, и он решился продолжать со славою свои подвиги в письменном свете.

Давно уже грозился он прибрать комедию к своим рукам; давно с неудовольствием видел, что гордые комические писатели стараются смешить партер, не заботясь о том, принимает ли их парадиз, – такое пренебрежение его тронуло; ибо он сам часто глядывал комедию из райка и чувствовал, сколь обидно честному человеку слушать два часа, не понимать ни слова и платить деньги только за то, чтобы видеть, как другие смеются. «Партер довольно посмеялся, – сказал он некогда, – теперь хочу я утешить парадиз», – и начал писать. Менее нежели через две недели объявляют новую комедию; зрителей стекается множество, открывают занавес, и – какое приятное удивление! – на сцене появляется целый народ в лаптях, в зипунах и в шапках с заломом – в парадизе раздались радостные восклицания. Сапожники, разносчики, каменщики – все узнавали на сцене своих земляков. Тогда-то всеобщее веселие разлилось по театру; на сцене появились фляжки и енды; в парадизе зазвенели рюмки и стаканы. На сцене заплясали – и весь парадиз зачал прищелкивать; казалось, что сцена и парадиз составляют одно семейство. Тогда-то гордый партер в первый раз почувствовал, что он в сей беседе лишний; что он не понимал, в свою очередь, ни слова изо всего, что переговорено в три часа; и что, наконец, в свою очередь, заплатил он деньги за то, чтобы послушать, как хохочет парадиз. Но кто же бы, думали вы, милостивые государи, загнал расчесанный партер в растрепанную крестьянскую шайку слушать нравоучения? – Кому, кроме бесценного нашего Ермала-

фида! Он один в состоянии высокое нравоучение подстроить под балалайку, и под его только разумные рассуждения могут плясать мужики на барках. Завидливая критика не умедлила на сие вооружиться; кричали, что расслабляется вкус, истребляется благопристойность, но вся небритая часть была на стороне нашего героя и, утвердя его славу, включила в число знаменитейших дней тот день, в который для бородатых зрителей выставлены на сцену бородатые актеры.

Теперь подумаете вы, может быть, что уже он, пленясь сими успехами, посвятил себя одному театру? Совсем нет; великий дух его не чувствовал себя отличнее привязанным ни к какому роду писания. Он хотел писать все и сдержал свое слово. Удивительная способность, милостивые государи! Часто, дописав до половины свое сочинение, он еще не знал, ода или сатира это будет; но всего удивительнее, что и то и другое название было прилично, а может быть, и все его сочинения со временем воздвигнут между академиями войну за споры, к какому роду их причислить. Из сего-то ясно видно, как гнушался великий ум его следовать правилам, предписанным всякому роду писания. Он поставил себя выше всех законов. «Одно только правило свято, – говаривал он, – и оно состоит в том, чтобы не следовать никаким правилам».

С сим-то прекрасным заключением вздумал он свободные часы свои посвятить удовольствию публики; под свободными часами разумею я только то малое время, которое оставалось ему от сна, от обеда и от ужина. Сколь ни мал был сей остаток, но и его не хотел он потерять напрасно; и для того-то решился он во всякое *новолуние* разгружать на печатном станке грузное судно своего воображения – короче сказать: начал журнал.

Какое поле открылось для его неутомимости! Озабоченный намерением просветить вселенную, не давал он ни дня, ни ночи отдыху своему типографщику: тут-то увидели бы вы, милостивые государи, с какою удивительною способностью пишет он прямо набело суждения, решения и определения о самых важных предметах! Казалось, что перо в руках его замерло – и наборщик никак не мог сравняться с ним в поспешности. Критика также получила себе новую пищу: одни говорили, что он, проповедуя добродетель, одним своим слогом в состоянии умножить число отступников от добродетели; другие кричали, что ежемесячные его сочинения суть

ежемесячные вылазки противу бессонницы, но его это не утратило – напротив, он имел дарование редкое: всякую брань толковать в свою пользу. Сколько писателей оставили в самом своем начале поприще словесности, утраченные первыми нападениями критики; но герой наш не таков: если над ним смеются, то он восхищается способностью своею смешить и сравнивает себя с Мольером и Боало; если его бранят, он ласкает своему самолюбию, заключая, что брань есть знак зависти, и, по крайней мере, доволен он уже тем, что им занимаются, а это уже одно и доказывает ему, что публика его не забывает. После сего, милостивые государи, кто может составить для его ума такое крепительное, после которого бы он не чувствовал позыву на письмо?

С сими блистательными качествами соединял он благородное презрение ко всем тем авторам, коих имени не мог твердо выговорить; под сим разумею я всех иностранных писателей. Приятно было смотреть, милостивые государи, с какою непринужденною смелостию бранил он Мольера, Расина и Боало, никогда их не читав, и с каким равнодушием смотрел трагедии Корнелия. «Скажи, – спрашивал у него некто, – для чего не учишься ты языкам иностранным и делаешь такие смелые заключения, не понимая их авторов?» – «Сердце у меня слышит, – отвечал он с благородною простотою, – что в них во всех менее толку, нежели в *Бове Королевиче*, притом же я знаю склады на многих языках, но российские склады красноречивее всех складов на свете. А как склады служат основанием словесности, то кто может меня уверить, чтоб из дурных припасов можно было воздвигнуть прекрасное здание?» Какое сильное, какое убедительное доказательство преимущества российской словесности! Не нужны ему были ни авторы, ни истории: одними складами открыл он сомнительную истину и доказал, сколь полезно ученому человеку знать склады.

Но только ли его совершенств? Чем более я говорю, тем неисчерпаемое становится мой источник. Язык мой не успевает следовать за моим воображением; воображение мое не находит пределов. Но если уже природа человеческая столь слаба, что ни мне всего того, что бы я хотел сказать, ни вам всего, что бы я сказал, выслушать не станет сил, то дадим ей роздых. Пусть наше согласное молчание увенчает достоинства бесценного Ермалафида, и

Хрестоматия по истории русской литературной критики

пусть будет оно служить символом спокойствия, коим некогда будут наслаждаться в ученых анбарах его неподражаемые творения.